



ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ



Философское измерение



ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВОЙ КРЕАТИВНОСТИ

М.В. ЛЕБЕДЕВ

Одна из центральных проблем философии языка связана с противоречием между конечностью числа языковых элементов, которые мы способны выучить и которые в действительности выучиваем, и бесконечностью числа языковых выражений различной степени сложности, которые мы способны понимать и порождать. В статье я рассматриваю связь этой проблемы с когнитивной теорией и с различными аспектами общей аналитической теории познания, в том числе с условие-истинностной концепцией языкового значения.

Эту проблему в философии языка часто называют проблемой креативности (далее используем сокращение — ПК), и в нее не следует, строго говоря, включать психологическое понятие креативности. Последнее, как принято считать, подразумевает следующие предпосылки:

1. Креативность — это способность адаптивно реагировать на необходимость в новых подходах и новых продуктах. Данная способность позволяет также осознавать новое в бытии, хотя сам процесс порождения нового может носить как сознательный, так и бессознательный характер.

2. Создание нового творческого продукта во многом зависит от личности творца и силы его внутренней мотивации.

3. Специфическими свойствами креативного процесса, продукта и личности являются их оригинальность, состоятельность, валидность, адекватность задаче и еще одно свойство, которое может быть названо пригодностью — эстетической, экологической, оптимальной формой, правильной и оригинальной на данный момент.

4. Креативные продукты могут быть очень различны по природе: новое решение проблемы в математике, открытие химического процесса, создание музыкального произведения, картины или поэмы, новой философской или религиозной системы, инновация в юриспруденции, свежее решение социальных проблем и др.¹

Эти аспекты рассмотрения направлены прежде всего на то, чтобы установить, самостоятелен ли процесс креативности, или же креативность — это сумма других психических процессов? Такой вопрос, как мы видим, не вполне идентичен нашей исходной проблеме, хотя и может быть рассмотрен как одна из стратегий ее решения.

Однако психологический подход представляет собой важную преамбулу к трактовке ПК в философии языка. С точки зрения психологии, одно из двух радикально полярных пониманий креативности состоит в том, что она представляет собой необычные проявления ординарных процессов. С точки зрения философии языка, один из аргументов в пользу такого подхода предлагает когнитивная теория «врожденных структур». Так, Н. Хомский утверждает, что языковая компетентность основывается на врожденных структурах человеческого языка, Дж. Фодор — что такие структуры лежат в основе всех форм человеческого интеллекта и когнитивных функций, включая не только абстрактные формы, подобно математическому и музыкальному интеллекту, но и конкретный предметно-ориентированный интеллект. Предпосылка здесь состоит в том, что все уже некоторым образом содержится в потенциале, нельзя создать что-то из ничего, т.е. помимо существующих структур. Противоположное психологическое понимание процесса креативности, при котором он признается самостоятельным, следует связать в философии языка, видимо, с подходом в духе позднего Витгенштейна.

ПК в философии языка может быть сформулирована так:

(ПК): Как можно объяснить тот факт, что, исходя из знания конечного числа грамматически правильно построенных высказываний (элементов языка), которое мы получаем при обучении языку, мы можем производить и пони-

мать потенциально бесконечное число незнакомых высказываний?

Рассуждая рационально, мы, скорее всего, скажем, что механизм состоит в следующем: на основе предъявленных образцов, обобщая их, мы усваиваем некоторые закономерности комбинирования элементов, и именно знание этих закономерностей далее реализуется в алгоритмах, с помощью которых мы строим и распознаем новые высказывания.

В таком рассуждении задействовано минимум одно допущение, характерное для рационализма (классического рационализма, или рационализма как такового) — это принцип ассоциативности: сложные ментальные конструкции созданы из комбинаций, ассоциаций простых идей; при этом закономерности, которые определяют природу этих ассоциаций, доступны рациональному постижению. Ассоциативность, в свою очередь, предполагает обратный принцип — аналитический редукционизм: сложные мысли, абстрактные построения могут быть сведены к элементарным идеям и образам.

Решение в этом духе, представленное Хомским, на сегодняшний день является чрезвычайно влиятельным. Хомский так формулирует ПК:

«Наиболее поразительный аспект лингвистической компетентности состоит в том, что можно назвать творческим потенциалом языка, т.е. в способности говорящего производить новые предложения, которые немедленно понимаются другими носителями этого языка, хотя эти новые предложения не имеют никакого физического сходства с теми предложениями, которые им знакомы ... Фундаментальная важность этого творческого аспекта языка была признана, начиная с XVII столетия»².

Подход Хомского к ПК носит характер эмпирической гипотезы и основан на том, что анализ предпосылок использования языка должен основываться на допущении о существовании некоторой языковой способности или языкового процессора, т.е. самостоятельной когнитивной способности, которая делает возможным лингвистическое понимание, порождая знание данного конкретного языка. Эта

когнитивная способность универсальна, как минимум, в двух отношениях.

1. Она является у людей генетически обусловленной. Здесь мы видим, как из уже принятых рационалистических допущений вытекает еще одно, прямо картезианское — о наличии врожденных идей.

2. Она независима от структуры: каждый индивидуум в этом отношении представляет собой систему, которая при вводе в нее выражения на определенном языке порождает на выходе грамматику этого языка (частный случай реализации этой грамматики).

Такое решение ПК представляет собой философскую основу того, что Хомский называет «картезианской лингвистикой»; в свою очередь, оно основано на использовании рекурсивных процедур и носит менталистский характер. Когнитивные лингвистические теории подобного рода пытаются описывать действия релевантных ментальных механизмов (трансформации на уровне «глубинных структур» и т.п.); если это описание правильно, то оно ясно дает понять, как фактически возможно явление креативности языка:

- (1) грамматика — это теория компетентности;
- (2) она пытается объяснить способность говорящего понять произвольное предложение его языка;
- (3) лингвистическая грамматика стремится обнаружить и показать механизмы, которые делают такое понимание возможным.

Подобные представления не вызывают принципиальных возражений в лингвистике и получают поддержку в некоторых направлениях философии языка — например, у М. Дамита:

«Тот факт, что любой человек, владеющий любым данным языком, способен понять бесконечное количество предложений этого языка, состоящее по преимуществу из предложений, которых он никогда не слышал прежде... едва ли может объясняться иначе, чем тем, что каждый говорящий неявно схватывает множество общих принципов, управляющих использованием слов языка в предложениях»³.

Аналогичный подход влиятелен и в современной философии сознания, где он представлен, например, в теории искусственного интеллекта П. Черчленда.

«Правила [арифметики] мы уже знаем... поэтому мы уже сознательно владеем одной формальной системой. И учитывая, что мы вообще способны думать, мы также владеем (по крайней мере, некоторым неявным образом) также общей логикой пропозиций, которая является еще одной формальной системой. Более же интересно то, что вообще любая формальная система может быть автоматизирована»⁴.

При ознакомлении с такой — достаточно принципиальной — позицией возникает вопрос: почему Черчленд считает, что неосознанное знание формальной математической системы является предварительным условием сознательного размышления? В защиту этого предположения у Черчленда не приводится никаких собственных аргументов, хотя оно далеко от самоочевидности. Вместо этого он защищает свою позицию апелляцией к Хомскому:

Искусственные языки [Бейсик, ПАСКАЛЬ и т.д.] намного более просты по структуре и содержанию, чем человеческий естественный язык, но различия могут быть лишь различиями в степени... Теоретическая работа Ноама Хомского и подход порождающей грамматики в лингвистике многое сделали для объяснения человеческой способности использовать язык в терминах, которые допускают компьютерное моделирование⁵.

Таким образом, здесь постулируется отсутствие принципиального различия между естественными языками и определенными искусственными языками: предполагается, что различие имеет скорее количественный характер. Обращаясь к Хомскому, Черчленд исходит, прежде всего, из допущения о лингвистичности мышления. Если мы принимаем такое допущение, то аргумент выглядит следующим образом:

(1) учитывая, что мыслить значит всегда мыслить на языке, и что

(2) овладение языком возможно только в силу чего-то подобного правилам Хомского, которые мы знаем врожденно,

(3) тогда, если у нас нет таких врожденных знаний, то язык и, следовательно, мышление будут невозможны.

Аргументы такой формы содержатся и у самого Хомского:

«Языковая способность Джонса имеет “начальное состояние”, установленное генетическим наследием... Системы употребления (performance systems) полностью определены начальным состоянием... Любые изменения состояния управляются внутренне... Назовем состояние когнитивной системы языковой способности Джонса “языком” или “Я-языком”, где “я” должно подчеркнуть его “внутренний”, “индивидуальный” характер»⁶.

Итак, сторонники этого подхода не просто постулируют существование индивидуального языка: эта идея является здесь, по сути, центральной. Оказывается, на ней основана вся концепция, которая на первый взгляд может выглядеть нейтральной и которая, в итоге, допускает интерпретацию в физикалистских терминах «алгоритмов». Таким образом, под вопросом здесь оказывается сама концепция «значение как употребление», согласно которой значение слова можно показать только его применением на протяжении длительного (или, во всяком случае, так или иначе определенного) промежутка времени. Ее центральным аргументом является именно доказательство невозможности индивидуального языка⁷.

Считается, что аргумент индивидуального языка лишает ощущения и восприятия статуса сугубо индивидуальных и вследствие этого недостижимых ментальных сущностей, которые не обуславливаются никакими физическими событиями⁸. Аргумент работает на концепцию «значение как употребление», направленную против таких теорий значения, согласно которым значение есть определенный предмет (образ в сознании; абстрактная сущность). В основе подобных теорий лежат следующие допущения:

1) каждому фрагменту языка соответствует некоторая внеязыковая сущность, и

2) эта сущность имеет ментальную природу.

Эти допущения в полной мере проявляются в «алгоритмическом» подходе в духе Хомского. Противостоящая им аргументация концепции «значение как употребление» в традиции, восходящей к Райлу и Витгенштейну, направлена на раскрытие следующих тезисов:

1) нет такой системы языковых правил, которая была бы полной и недвусмысленной, и

2) нет такого правила, которое независимо от нашей практики его применения определяло бы, правильно или неправильно используется выражение.

С этой точки зрения, любое правило, которому некто (наблюдаемый нами) следует, может применяться им на некоторой стадии таким образом, который будет одновременно и совместим с прошлым применением, и отличен от того, что мы имели в виду. Если некто внезапно делает что-то, что кажется нам ненормативным применением правила, то у него может иметься такая интерпретация полученных им инструкций, которая объясняет и использование рассматриваемых терминов, совпадавшее вплоть до данного момента с предполагавшимся (автором инструкций и/или внешним наблюдателем) использованием, и также дальнейшее ненормативное использование. Мы предположим, что такой человек извратил наши инструкции, что он следовал правилу, отличному от того, которое мы предназначали. Но, очевидно, возможно также, что *ничто* из того, что мы говорим или делаем, не заставит такого человека следовать правилу так, как мы хотим. Как бы много правил мы ни дали ему, он может иметь свое правило, которое обосновывает его применение наших правил: т.е. он дает такую интерпретацию того, что ему сказали делать, при которой может быть признано, что он действительно это делает.

Витгенштейн выдвигает требование, согласно которому у нас нет возможности окончательно удостовериться в том, что мы разделяем наше понимание некоторого выражения с кем-то еще, что в некотором будущем случае соответствующие использования нами этого выражения не будут различаться настолько радикально, что нам придется расценивать те значения, которые мы приписываем этому употреблению, как различные. А раз так, то мы неявно принимаем ту гипотезу, согласно которой ситуация употребления языковых выражений имеет форму ситуации существования соглашения об их употреблении. Предметом такого соглашения был бы способ, которым говорящие на языке понимают некоторое выражение как эквивалент некоторо-

му открытому множеству утверждений об их поведении в фактических и гипотетических обстоятельствах. С этой точки зрения, разговор об определенном способе понимания выражения допустим только в том случае, если мы обладаем некоторыми средствами проверки того, как именно оно понимается. Если мы не имеем таких средств, то у нас нет оснований говорить о факте понимания выражения некоторым определенным способом, в некотором определенном отношении. По мнению Витгенштейна, у нас этих средств и, следовательно, оснований действительно нет. Возможна другая точка зрения: например, отталкиваясь от этого соображения, Даммит строит свою теорию значения, подразумевающую возможность обнаружения таких средств. Однако и для отрицательной, и для утвердительной гипотезы важен не столько тот факт, что теория строится для открытого множества утверждений, сколько то, что такая теория предусматривает *процедуры* конструирования и деконструирования (допустим, прибавления единиц к конечному множеству). Именно знание (пусть неявное) процедуры (или о процедуре, о возможных способах существования подобных процедур) необходимо нам для того, чтобы утром быть уверенными, что днем все будет также.

Эта проблема может быть сформулирована как проблема *стабильности* языкового значения⁹ (в определенном смысле наследующая проблемы индивидуального языка и следования правилу): какие факторы обеспечивают неизменность употребления языковых знаков в одном и том же значении? Откуда я могу знать, что в следующий раз, когда я произнесу слово «снег», мой собеседник будет знать, что я имею в виду мелкие кристаллы H_2O ? В силу чего у нас есть основания полагать, что в следующий раз, когда мы произнесем то или иное слово, оно будет обозначать свой предмет тем же способом, что и в прошлый раз?

Возможны два наиболее общих ответа:

1. Так говорят все. И я, и другие люди много раз употребляли слово «снег» для обозначения мелких кристаллов H_2O , и отсюда я делаю вывод, что так будет и дальше.

2. Слово «снег» означает в русском языке мелкие кристаллы H_2O .

Второй ответ ассоциировался бы для позднего Витгенштейна с «августинианскими» теориями значения, которые он отбрасывает вместе с репрезентационизмом «Логико-философского трактата». (Точнее, такой ответ ассоциируется вообще с любыми абсолютистскими теориями значения, а не только идеационными.) Но и первый ответ не был бы для Витгенштейна удовлетворительным, из чего и возникает обсуждение проблемы следования правилу. А потому для этого обсуждения оказывается не столь важным, конечное или бесконечное множество утверждений вовлечены в рассуждение — его целью является скорее уточнение понятия процедуры, роли и содержания процедур, в отличие от статичных понятий.

Это приводит к замещению семантического вопроса «Трактата» — «В каком случае данное предложение может быть истинным?» — двумя другими:

1. При каких условиях это языковое выражение может соответствующим образом утверждаться (или отрицаться)?

2. Каковы в нашей жизненной практике роль и применение утверждения (или отрицания) языкового выражения при этих условиях?

Все, что необходимо для легитимации утверждений о том, что некто имеет в виду нечто — это наличие конкретных обстоятельств, при которых эти утверждения легитимно утверждаемы, и то обстоятельство, что игра в высказывание таких утверждений при этих условиях имеет место в нашей жизни (жизни языкового сообщества). Никакого предположения, что этим утверждениям «соответствуют факты», не нужно. Тогда мы должны будем отбросить предпосылку о том, что осмысленные декларативные предложения должны иметь целью (подразумевать) соответствие фактам. Если наши рассуждения основаны на этом, то мы можем только заключить, что предложения, приписывающие значение и интенцию другим, сами бессмысленны.

Отсюда возможна обширная аргументация против решения ПК в духе Хомского. Радикальная позиция будет состоять в том, чтобы показать, что ПК является псевдопроблемой. Так, Н. Малкольм утверждает, что вопрос «Как Вы выучили свой родной язык?» просто невозможен или бессодержателен:

«Если кто-то объясняет свое владение английским, сообщая нам, что он вырос в говорящем на английском языке сообществе, то это — не “поверхностное” объяснение. Нет никакого “более глубокого” объяснения. Это — пример того, как объяснение исчерпывает тему»¹⁰.

Однако Хомский вполне согласен с тем, что жизнь в говорящем на английском языке сообществе является фактором объяснения того, почему человек понимает английский язык¹¹. Для понимания языка языковой процессор требует ввода лингвистической информации в определенной структуре, т.е. уже опосредованной опытом, а, следовательно, и социокультурными факторами, и т.п. Но почему объяснение понимания языка должно на этом остановиться? Без уточнения критериев «исчерпания темы» — т.е. где вообще должно заканчиваться объяснение — предложенное ограничение Малкольма кажется достаточно произвольным.

Аналогичным образом Дж. Бейкер и П. Хакер утверждают, что ПК неверно описывает лингвистическое понимание¹². С их точки зрения, некорректной является сама та идея, что ребенок понимает бесконечное (потенциально или актуально) количество новых высказываний. На самом деле ребенок понимает множество слов и предложений, но всегда остается множество других, которых он не понимает — тех слов, которые он еще не знает, и предложений, которые ему не вполне понятны. Вопрос тогда будет заключаться в следующем: меняется ли когда-либо эта ситуация, т.е. достигает ли говорящий когда-либо полного понимания языка? Согласно таким представлениям, возрастание понимания адекватно описывается с помощью «традиционной теории изучения», согласно которой овладение языком должным образом объясняется скорее в терминах изучения, чем в терминах «роста» или «развития»; поэтому неправильно думать, что говорящие в действительности при каких-либо обстоятельствах понимают бесконечное количество новых высказываний. С такой точки зрения, ПК — это, на самом деле, псевдопроблема.

Однако на это критическое утверждение Бейкера и Хакера возможен следующий контраргумент. «Картезианское» решение ПК устанавливает когнитивную способность, ко-

торая из конечных состояний с определенной структурой на входе порождает в индивидууме полную грамматику языка. Лингвистическое понимание состоит во владении полной грамматикой, т.е. формальными средствами производства синтаксических структур. Поэтому отсюда не следует, что языковой субъект, порождающий высказывания в соответствии с этим принципом, действительно понимает бесконечное или даже неопределенно большое количество предложений. Аргумент Бейкера и Хакера отпадает, если мы разводим формальную грамматику и реально функционирующий язык — иными словами (усиливая эту позицию), если мы пользуемся Соссюровой дистинкцией между языком и речью.

Более умеренные и убедительные, чем у Малкольма и Бейкера — Хакера, аргументы в этой связи приводит К. Райт¹³. Он выделяет в (предполагаемой) витгенштейнианской позиции четыре ключевых тезиса:

- 1) понимание не может превосходить объяснение по содержанию;
- 2) следование правилу не является вопросом интуитивного знания какого бы то ни было независимого требования;
- 3) оно также не является вопросом интерпретации;
- 4) язык основан на примитивных диспозициях согласия в суждении и действии.

Поскольку конвенция релевантного типа здесь не зависит ни от интуиции, ни от интерпретации, постольку, с точки зрения Райтовой реконструкции Витгенштейна, нет и не может быть никакой внутренней эпистемологии следования правилу. Согласие в суждении не является результатом какого бы то ни было когнитивного процесса. Следовательно, если ПК — это корректно построенный вопрос, то когнитивная лингвистика предлагает ответ совершенно неправильного рода.

Отвечая Райту, Хомский сравнивает двух носителей языка — обычного человека Питера, и марсианина *М*. Допустим, что теория *Т* объясняет лингвистическое поведение обоих. В отличие от Питера, *М* знает *Т*, т.е. сознательно пользуется *Т*. В таком случае внутренняя эпистемология *М* разъясняет его «привилегированный доступ» к собственным

ментальным состояниям, тогда как у человека это остается загадкой. С точки зрения Хомского, Питер следует правилам *T*, потому что такова его человеческая природа; мы знаем, почему Питер следует правилам, даже если мы не знаем, как он это делает. Кроме того, *T* дает такую теорию поведения обоих, которая является адекватной не только с точки зрения обыденного здравого смысла, но и с научной точки зрения.

«Некоторая теория, включающая *T*, которую можно предложить сегодня, не делает тайны из “власти первого лица” (first-person authority), хотя оставляет загадку и в отношении *M*, и в отношении Питера. Для обоих мы имеем теорию, которая выполняет научные условия... но нам недостает понимания природы сознания»¹⁴.

Точнее, видимо, было бы говорить не о «недостаче понимания», но об обнаруживающейся в этой связи неудовлетворительности определенных элементов картезианской концепции сознания».

«Власть первого лица», обладание перспективой первого лица признается в аналитической эпистемологии существенным свойством личности, отличающим ее от биологического организма и вообще каких бы то ни было сущностей иных родов. Аргументы, которые в связи с этим можно построить, будут направлены против отождествления субъекта сознания с какой бы то ни было субстанцией — субстанциализма физического, спиритуалистского или дуалистического. Картезианский дуализм утверждает двухчастную структуру человеческой личности: душа, являющаяся мыслящей субстанцией, способна существовать отдельно от тела, но, тем не менее, она интимным образом соединена с телом, образуя с ним единое целое, которое и есть человеческая личность. Аналитическое возражение здесь будет состоять в том, что личность представляет собой референт местоимения первого лица единственного числа, тогда как мыслящая субстанция — это то, чему приписывается обладание определенными ментальными способностями. Следовательно, Я — это то, что мыслит или желает, а мыслящая субстанция — это то, что объясняет, благодаря чему я что-то мыслю или желаю. Однако такой ответ нельзя признать

удовлетворительным, поскольку «Я» — это индексный термин, референт которого зависит от того, кто или что его употребляет. Например, если на мониторе моего компьютера появляется надпись «Я готов к работе», то я понимаю, что референтом «Я» является мой компьютер, но при этом вовсе не склонен считать его наделенным сознанием. «Я» скорее само нуждается в адекватном объяснении, чем может быть использовано для объяснения того, что значит быть субъектом сознания.

Применительно же к скептической перспективе, которая оказывается такой важной при обсуждении проблемы следования правилу, картезианский аргумент «первого лица» чаще всего интерпретируется как «проблема доступа». Она выглядит так: доступ субъекта познания к своей собственной системе убеждений весьма проблематичен в двух отношениях.

- Если такой доступ достигнут, то возникает проблема эпистемологического статуса его результата, который должно представлять собой рефлексивное мета-убеждение, описывающее полное содержание системы. Такое мета-убеждение было бы очевидно контингентным и эмпирическим — что противоречит его предполагаемому статусу ментального состояния (причем «второго порядка»).
- Второй аспект проблемы доступа таков: обладают ли обычные субъекты познания когда-либо фактически (или могут ли обладать) чем-либо подобным рефлексивному схватыванию полного содержания своих систем убеждений? Здесь, вероятно, более правдоподобно было бы предположить, что обычно имеет место лишь приближение — и возможно, довольно отдаленное — к идеальной репрезентации, изображаемой теорией.

Таким образом, в контексте обсуждения ПК обсуждение проблемы доступа не просто ставит под вопрос возможность менталистского объяснения неограниченного порождения/понимания значимых языковых выражений, как это происходит при всех проявлениях витгенштейнианского подхода, но в то же время и демонстрирует, как это показы-

вает построенный Хомским аргумент, что при обсуждении креативности невозможно обойти обсуждение проблем сознания. Более конкретно, неустраним тот аспект анализа субъективности, где предусматривается возможность и/или необходимость трансцендуса — аспект, который может быть определен как выявление специфической познавательной установки, связанной с постоянным стремлением к выходу за пределы данного.

Что общего у хомскианского и витгенштейнианского подходов?

В сущности, обе стратегии в своих радикальных вариантах пытаются показать, что ПК является псевдопроблемой. Однако они делают это по разным основаниям: витгенштейнианский подход носит конструктивистский, динамический характер, тогда как хомскианский — репрезентационистский, в картезианском духе. Такое методологическое противопоставление часто описывается как дистинкция «алгоритм vs. модель», или «инструкция vs. образец». Одна из стратегий снятия этого противопоставления носит характер онтологического конструктивизма: описание интендирует некоторую онтологию. С такой точки зрения, разумеется, признается различие между миром и его версией, но отрицается наличие независимых от описаний свойств мира, т.е., по сути, отрицается различие в онтологических требованиях, которые мы можем предъявлять к мирам и к их описаниям.

Здесь содержится сильное онтологическое требование о том, в каком отношении можно говорить, что мы создаем вещи в мире, описывая этот мир. Отличаясь друг от друга, мир и его описание имеют вместе с тем онтологический коррелят, наличие которого вытекает из того, что между ними нельзя провести четкой и постоянной границы. Согласно известному аргументу Н. Гудмена, мы создаем звезды — в том отношении, что мы употребляем язык, содержащий термин «звезда», и тем самым делаем референт этого термина единицей, релевантной для нашего восприятия, для нашей символической деятельности и для любого возможного приложения нашего опыта¹⁵. При таком подходе сам избранный для каждой знаковой системы способ иденти-

фикации индивидов порождает тот факт, что индивиды имеются в наличии, и определяет, каких и сколько индивидов мы обнаруживаем.

Такая интерпретация описания мира подразумевает холистическую концепцию лингвистического понимания. Согласно последней, теория значения для языка является теорией, которая позволит дать для каждого действительного и потенциального предложения рассматриваемого языка теорему, определяющую то, что каждое предложение означает. Наша теория языка должна быть такой систематической теорией конечной структуры языка, которая позволяет понять любое и каждое его предложение. Поскольку число потенциальных предложений на любом естественном языке бесконечно, теория значения для языка, который употребляется существами с конечными возможностями — такими, как мы сами, — должна быть теорией, которая может производить бесконечное количество теорем (одну для каждого предложения) на основе конечного множества аксиом. В самом деле, любой язык, который может быть усвоен нами, должен обладать структурой, пригодной к такому подходу: семантическая теория должна дать нам значение каждого независимого значащего выражения. Поскольку каждый язык имеет конечное число элементов, слов и типов фраз, мы используем связи этих повторяющихся элементов — как в аксиомах, так и в теоремах — для того, чтобы дать значение бесконечно большого числа предложений, которые содержатся в языке. Тогда онтологическая корреляция, о которой идет речь, подразумевает трансцендентность истинности этих предложений.

Определение условий, при которых предложение является истинным — это также и способ определения значения предложения¹⁶. Отвлекаясь от собственно определения истинности, такая теория воплощает нашу интуицию о том, как должно использоваться понятие истины применительно к языковым выражениям. С такой точки зрения, знать семантическое понятие истины для языка значит знать, что такое для предложения — любого предложения — быть истинным, а это равносильно пониманию языка. Требование

трансцендентности истины в теориях такой формы обычно не учитывается, что связано с общим теоретико-познавательным и историко-философским контекстом его возникновения и использования. Это в первую очередь схоластическое требование. Фома Аквинский, принимая (как и сторонники семантической теории истины) классическое определение, данное Аристотелем — «“Бытие” и “есть” означают, что нечто истинно, а “небытие” — оно не истинно, а ложно...»¹⁷ — стремится радикализовать его и дать такое определение истинности, которое было бы применимо не только к высказываниям, но и к самим вещам, *veritas in rebus*¹⁸. Это более сильное требование, нежели простое разграничение модальностей *de dicto* и *de re*.

Фома определяет истинность вещей следующим образом: объект вида *F* является «истинным *F*», если он отвечает некоторому предварительному понятию (*praeconceptio*), наличествующему в сознании субъекта. Таким образом, если мысль не соответствует своему предмету, то причина этого может корениться как в мысли, так и в самом предмете. Либо то, либо другое выступает «мерой и правилом» (*mensura et regula*, где последнее — первый аналог *rule* Витгенштейна) — либо предметы задают правила нашего мышления, либо правила мышления определяют, находится ли предмет в соответствии с наличествующим понятием о нем¹⁹.

Понятие соответствия лежит в основе корреспондентной теории истины, на которую опирается концепция языкового значения как условий истинности. Наиболее прямой (и наиболее распространенный) ход здесь — признать так понимаемое соответствие отношением *sui generis*, далее нередуцируемым ни к каким другим понятиям. Это простое и сильное решение выражает достаточно ясные эмпирические интуиции, когнитивную ценность которых нет смысла оспаривать. С другой стороны, введение дополнительного понятия снижает объяснительную силу теории и ее конкурентоспособность по сравнению с другими теориями истины. Наконец, такой ход создает и дополнительные проблемы. Например, предположение, что *A* соответствует *B*, может подразумевать два типа отношений:

- А удовлетворяет некоторым требованиям В или находится с ними в согласии (модель «ключ — замок»), или
- А коррелирует с В (модель «генерал — адмирал»), т.е. заявленная нередуцируемость все же не достигается полностью.

Требование трансцендентности предполагает несколько иной подход. Из него следует, что, хотя соответствие является симметричным отношением, оно может иметь разные направления. Дж.Серль дает следующий пример: если Золушка покупает туфельки, то размер ее ноги является данностью, которой туфельки должны соответствовать, но если принц ищет Золушку, то данностью, требующей соответствия («мерой и правилом»), выступает уже, наоборот, туфелька²⁰.

Понятие *veritas in rebus* подверглось чрезвычайно суровой критике в философии Нового времени — как со стороны рационализма (Декарт, Лейбниц, Спиноза), так и со стороны эмпиризма (Гоббс, Локк). Итог подвел Кант, заключив, что схоластическое использование предиката «истинный» по отношению к вещам является ошибочным²¹. Именно этот период стал чрезвычайно важным для формирования современных представлений о пропозициональной истинности. Приведенная аргументация призвана свидетельствовать о том, что в нынешних дискуссиях фактически потребовано переосмысление понятия трансцендентности истинности, но уже по основаниям, весьма отличающимся от схоластических — в том числе по основаниям аналитической эпистемологии и феноменологии языка.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См.: Торшина К.А. Современные исследования проблемы креативности в зарубежной психологии // Вопросы психологии. 1998. № 4.

² Chomsky N. Topics in the Theory of Generative Grammar // Searle J.R. (ed.) The Philosophy of Language. Oxford Readings in Philosophy. — Oxford: Oxford University Press, 1974. — P. 74.

³ Dummett M. Truth and Other Enigmas. — London, 1978. — P. 451.

⁴ Churchland P. Matter and Consciousness. — Cambridge (Mass): MIT Press, 1984. — P. 100.

⁵ Ibid. — P. 16.

⁶ Chomsky N. Language and Nature // Mind. Vol. 104. №. 416. 1995. — P. 13.

⁷ См., например: Лебедев М.В. Эпистемологические основания условие-истинностной концепции значения. — М.: РУДН. 2001. § 1.1.

⁸ См.: Stroud B. Wittgenstein's philosophy of mind // Contemporary philosophy. Vol. 3. — The Hague. 1983. — P. 329.

⁹ Лебедев М.В. Стабильность языкового значения. 2-е изд. — М., 2008.

¹⁰ Malcolm N. Wittgenstein, A Religious Point of View? — London: Routledge, 1993. — P. 57.

¹¹ Chomsky N. Language and Nature. — P. 13.

¹² Baker G.P., Hacker P.M.S. Language, Sense and Nonsense. A Critical Investigation into Modern Theories of Language. — Oxford: Basil Blackwell, 1984. — P. 345 — 356.

¹³ Wright C. «Wittgenstein's» Rule-Following Considerations and the Central Project of Theoretical Linguistics' // George A. (ed.). Reflections on Chomsky. — New York: Blackwell, 1989. — P. 223 — 264.

¹⁴ Chomsky N. Language and Nature. — P. 36.

¹⁵ См.: Гудмен Н. О создании звезд // Синергетическая парадигма. Когнитивно-коммуникативные стратегии современного научного познания. — М.: ИФРАН; Прогресс-традиция. 2004.

¹⁶ См.: Дэвидсон Д. В защиту конвенции Т. // Дэвидсон Д. Истина и интерпретация. — М., 2003. — С. 108 — 121.

¹⁷ Met. 1017a 31. Аристотель. Метафизика // Аристотель. Собр. соч. В 4 т. Т.3. — М.: ИФАН, 1976. — С. 156).

¹⁸ Summa theol. Ia, q. 16, a. 1 (Aquinas. Summa theologiae Ia. Turin: Marietti, 1950 [C. 1266 — 1268]; Summa theologiae. Vol. 4: Knowledge in God. — London: Eyre and Spottiswoode, 1964).

¹⁹ Summa theol. Ia, q. 16, a. 1; q. 21, a. 2.

²⁰ Searle J. Intentionality. — Cambridge: Cambridge University Press, 1983. — P. 8.

²¹ Критика чистого разума. В 113 — 114 // Кант И. Собр. соч. В 8 т. Т. 3. — М.: Чоро, 1994. — С. 115.